

ДВА ЧУДА

I

Почти голые ветки акации странно и некстати выводили веселый узор по огромному животу сестры Нонны. Около года она уже была одержима бесом, прожорливым и пискливым, вздувавшим ей живот, как грязный парус, и заставлявшим бедную сестру Нонну есть за четверых поденщиков. Когда бес отпускал больную монахиню, она плакала, глядя на вспухшее свое тело, тоненьким голосом ворчала на водянку и молилась, чтобы Господь избавил ее от водянки. Она думала, что страдает этой болезнью, ничего не зная о злом духе. Когда она приходила в себя, с ее глаз убирали все съестное, так как, едва завидев какую-нибудь пищу, демон вновь зажигал взор ее желанием, и она пищала, тянулась, хлопала себя по животу, как по барабану, и бранилась. Эфиопка Муза часто просто-напросто съедала пищу сестры Нонны, чтобы та не видела и не сердилась. Когда больная замечала это, она подзывала послушницу и била ее по черным лоснящимся щекам. Обители было бы трудно удовлетворять демонскую прожорливость сестры Нонны, если бы родные последней, римские всадники, не посылали специальных денег на лечение и уход за больной. У нее была келья во втором жилье, но так как больная была неопрятна, а бес, владевший ею, очень зябок и запрещал проветривать покой, то помещение ее было запущенно и зловонно. Грубая Муза не обращала на это внимания, но, когда изредка заходили туда мать настоятельница или келарница для бесед или чтобы узнать, не нуждается ли в чем одержимая, они не могли удерживаться и часто закрывали ноздри широким рукавом. Слухи о бесноватой распространились по соседним деревням, и многие, думая, что сестра Нонна получила особую благодать свыше, приходили к ней за советом, житейским или лечебным, но демон встречал их такой руганью или болтал такие глупости, причем в животе тоненькое эхо будто обезьянило его пискливые речи, что всем становилось не по себе, и посещения прекратились. Да и вонь в келье была нестерпима даже верблюжьим пастухам.

Акации, глицинии, терновник так густо разрослись, что можно было забыть, что сейчас же за оградой начиналась пустыня. Верстах в двух торчал на горизонте пук пальм над проточной водой, а затем во все стороны не было тени, кроме кочующих серых пятен от редких облаков. Шакалы, как собачонки, забегали по ночам во двор, подкопав глиняную ограду, и рвали черных кур. Ограда изображала скорей символ отчужденности сестер от мира, чем была действитель-

ной защитой от кого бы то ни было. Било, висевшее у ворот, редко звучало, посетителей было мало, большая дорога пролегала вдали, мать игуменья сама ездила в город за подаением и возвращалась в сопровождении трех-четырех абиссинских всадников, которых она нанимала для охраны.

II

Пустынную обитель редко посещали старцы, потому что она лежала в стороне от дороги и разве только сбитый с пути странник мог просить сестер о скромном гостеприимстве. Поэтому все инокини и мать игуменья радостно и торжественно взволновались, когда привратница, не отворяя ворот, вбежала в притвор часовни, где только что кончилась вечерня, и сообщила, что захожий старец ищет приюта на ночь в их монастыре. Настоятельница дала знак рукою, чтобы скорее отворили ворота, и, поправив покрывало, посмотрела на сестер заблеставшим взором, словно помолодев. Осанисто опершись на посох и выпрямив стан, ступила она несколько шагов и, подождав, когда гость приблизится, сделала уставные поклоны. За нею, как стадо гусей, протянулись монахини, похожие в вечерних сумерках одна на другую. Они враз поклонились, как механические фигуры, вслед за игуменьей и снова, проворно поднявшись, застыли. На быстро потемневшем фиолетовом небе широко блистали зарницы загоризонтной грозы. Невидимая рука внезапно воочию вставляла в небо аметист вечерней звезды. Приблизившийся старец был широкоплеч и дороден; вероятно, в мире он был атлетом. Глубокий капюшон, закрывая глаза, бросал тень даже до рта, заросшего черной бородой с проседью. Голос оказался глухим и низким, когда пришелец отвечал на приветствие сестер. Звался он отцом Памвой.

Гостя степенно провели в трапезную, и, по старинному обычаю, настоятельница омыла ему ноги, покрытые дорожною пылью. Игуменья так истово исполняла этот обряд, что и на самом деле тепловатая вода, пахнувшая дикой мятой, сразу стала бурой и липкой, а костяшки на ногах старца побелели и обозначились. Сестры вспомнили, очевидно, еще более древнее обыкновение, потому что одна из них готовила на глиняном блюде кропило и ждала принять от настоятельницы воду, где омылись святые ноги. «Да, мать Бенична, ты это хорошо вспомнила!» — сказала игуменья, поднимаясь с полу. Она покраснелась от усилия, и глаза ее слегка затуманились, словно она немного опьянела и не понимала, что делается вокруг. Сам старец был смущен оказываемым ему почетом. Не обував сандалий, он сидел, грустно смотря на суетившихся сестер. Первые брызги ос-

вященной воды даже на серых одеждах монахинь легли грязными пятнами. Потом сестры сходили за чашками, бутылочками, фляжками и разной другой мелкой посудой, чтобы разнести воду по кельям. Эфиопка притащила даже серебряный соусник от большой Нонны. Монахини переглянулись, от усмешки их удержало присутствие настоятельницы и старца, а отец Памва поднял по-прежнему грустный взор и тотчас снова опустил глаза. Игуменья проговорила, словно извиняясь перед гостем:

— Больная у нас; бес мучит; отдохнув, посетил бы ее, авва; ходит за ней черная Муза; она — проста разумом, но чиста сердцем; ты не должен на нее сердиться.

III

Настоятельница хотела вкусить беседы старца, но отец Памва был или не книжен, или от смирения скрывал свою мудрость, но и после трапезы хранил молчание, поводя только по сторонам своими грустными черными глазами. Можно было даже подумать, что он с трудом объясняется по-гречески, так медленна была его речь и так гортанно его произношение, но белый лоб и скулы, единственные места на лице, не поросшие густыми волосами, говорили, что он не принадлежит к потомкам Хама или Измаила. Слова его были благочестивы, но простые и незатейливы, причем он больше расспрашивал о порядках обители, чем рассказывал о виденном в его, очевидно, дальних странствиях. Наконец игуменья сама уже решилась спросить его:

— Авва, хотя ты не достиг глубокой старости, но много видел чудесного на своем веку; хотя одно присутствие твоё нас уже назидает, но, может быть, ты будешь добр, не откажешь нам рассказать об искушениях, которыми тебя томили демоны, о видениях, посылаемых тебе Небом, о встречах, исцелениях, изгнании бесов, о мудрых словах других старцев, с которыми тебе случалось беседовать.

Под густыми усами не видно было, как усмехнулся отец Памва, горько ответив:

— Я мог бы рассказать тебе, мать, об убийствах, пожарах, преступлениях, насилиях и грабежах. О жестоких и страшных поступках разных людей.

— В мире ты был, наверное, военачальником, это до сих пор видно. Конечно, и мирские приключения могут служить к наставлению, тем более если они представляют из себя только вступление к исполненной такой святости жизни. А у памяти странные свойства: чем дольше живем, тем живее помним раннее детство и забываем вчерашний день.

Старец нетерпеливо двинулся, и из-под его одежды глухо зазвучали вериги, как нож о нож. Надвинув куколь, он смолк. Молчали и сестры. Вдруг, смеясь и плача, вбежала Муза, потрясая пустым соусником.

— Чудо! чудо! — вопила она и со всего размаху бросилась к ногам отца Памвы. Тот бережно, почти пугливо отстраняясь, зашептал:

— Какое чудо? какое чудо? ты с ума сошла.

— Чудо! чудо! — закричали две послушницы, вбежавшие вслед за эфиопкой и также бросившиеся к ногам странника, где билась Муза, обхватившая колени отца Памвы. Девушки плакали и смеялись в одно и то же время, а когда они смолкали, сверху слышался тоненький голос, распевавший чисто, но несколько дико: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево!»

— Что это значит? — спросила беспокойно игуменья. Зубы отца Памвы стучали, как в лихорадке.

— Я знаю, знаю! — пробормотал он. — О Господи!

— Он знает! кому-же, как не тебе, авва святой, и знать о чуде, тобой совершенном! Слава в вышних Богу! Мать, сестры, слушайте: сестра Нонна исцелилась!

— Сестра Нонна исцелилась! — прокричала другая; хрипло повторила за ними и черная Муза. Затем, словно антифоны, перебивая мерно одна другую, девушки заговорили:

— Чудо! едва только Муза вошла в комнату, бес стал мучить больную. Еще никогда она так не стонала, не требовала пищи, еще никогда не казалось тело таким вздутым, лицо таким диким...

— Чудо! Она звала эфиопку-сестру, кричала и царапала подушку, дыхание ее было горячо и зловонно, воздух вокруг был сперт и густ. Сестра Муза подошла к ней с сосудом, но бес выбил его из рук и — святая вода пролилась на лицо и грудь больной...

— Потекла на живот, на пол. Мы положили чистые полотенца, чтобы не пропадала драгоценная влага.

— Бес ужасно вскрикнул и потряс все тело сестры Нонны, изо рта у нее показался пар.

— То демоны выходили роем, лопаясь в воздухе с вонью.

— Она стала тихой, потом смолкла.

— Казалось, сон нашел на нее. Дыхание стало ровнее, даже вздутое тело не было так непохоже на человеческое.

— Брови сдвинулись, будто она страдала.

— Бес мучит ее на последях.

— Наконец слезы хлынули из ее глаз. Она долго плакала.

— Она сама удивилась своим слезам.

— Речь ее стала разумной, она у всех просила прощения и была тиха и смиренна.

— Она пробовала встать, и видно было, что еще немного и косность тела ее преодолется и болезнь исчезнет.

— Кто же с нею остался? — спросила наконец игуменья, когда обе монахини умолкли и только радостный и благоговейный шепот проходил по рядам сестер, как ветер по спелой ниве.

— Кто же с нею остался? — повторила игуменья.

— Сестра Фаина наверху, она...

Слова прервались новыми криками. В трапезную осторожно, как ребенок, что учится ходить, колыхая огромным, слоновьим животом, входила, улыбаясь, сестра Нонна. Лицо ее, с которого не была еще вытерта святая вода, подсыхавшая грязными струйками, было лучезарно. Крупные глаза блистали, маленький рот, сложенный воронкою, тоненько пел все тот же кондак.

Сестры ахнули и бросились теперь уже к матери Нонне, забыв на время пустытника; только эфиопка не отцеплялась от его колен и плакала навзрыд.

IV

Над шумной стаей монахинь колыхался слоновый живот, и сестра Нонна всех трогала, всех лобызала, всех узнавала, у всех просила прощения. Словно голубиный рой, женщины ворковали, славя Бога.

— Сестра Нонна, блаженная, поистине блаженная. Бог спас тебя. Слава Ему и Его пречистой Матери. Отец Памва свят несомненно. Добродетель не может быть скрыта. Светильник не ставят под спудом. Обитель наша взыскана благодатью! Слава покрыла наше жилище! Как небо благостно! Какое счастье нам, недостойным. Алилуйя! алилуйя! алилуйя!

Нонна, стоя над ними, кротко твердила, словно чтобы навсегда запомнить их имена:

— Муза, Фаина, Пульхерия, и ты, Аглаида, и ты, Евдокия, и ты, кроткая Бенична! мир вам Творца и Его угодника, отца Памву, за благость, ниспосланную мне.

В движениях огромного тучного тела, бесформенного и безобразного, была почти небесная грация, и сестра Нонна казалась в своей грязной рубахе благоуханным ангелом.

Вдруг нежное воркованье сестер прервал дикий, нечеловеческий крик. Отец Памва, выпрямившись, причем оказался очень высоким, откинув с глаз капюшон и выставив к небу бритую голову и клейменный лоб, бил в грудь себя кулаком, восклицая:

— Рази, Господи, рази, Господи, где гром Твой? где гнев Твой? Не медли!

Черная Муза, все еще не отцепившаяся от его колен, дрожала при каждом ударе кулака.

Сестры в страхе взирали на неистового старца. Новый шепот пронесся:

— Бес матери Нонны вселился в отца Памвы! горе нам, горе!

— Какой я к черту отец Памва? какой в меня вселился дьявол? разве бес в беса вселяется? Я Паисий разбойник!

Сказав так, старик рухнул наземь, звеня веригами. Сестры шарахнулись, одна игуменья не тронулась с места, шепча молитву. Наконец тихо и ровно начала:

— Ты, конечно, испытываешь нас, отец. Как мог ты, будучи разбойником Паисием, творить чудеса? а чудо меж тем несомненно. И зачем бы тебе входить в нашу обитель? Мы бедны и убоги. А девство наше охраняют ангелы. Ты носишь вериги под рясой и говоришь благочестиво. Конечно, ты отец Памва, а не Паисий разбойник, и напрасно ты нас искушаешь.

Старик приподнял заплаканное лицо и заговорил:

— Не вериги ношу, а нож и меч, не Памва я, а Паисий, беглый раб и разбойник. Видишь эти клейма?

— Клейма могли быть поставлены давно, ты мог быть рабом, и даже разбойником, но теперь все загладил, отец Памва, брат мой милый.

Нонна опять завела тоненько «Под Твою милость прибегаем».

— Теперь, теперь! теперь я и сам не знаю, кто я. Клянусь всем, чем могут люди клясться, что говорю правду. Я — Паисий разбойник, и раскаяния не было во мне. Я задумал обокрасть ваш монастырь, думая, что внешность обманчива и часто скромные обитатели хранят сокровища. Мы сговорились с товарищами, что я войду к вам под видом старца и ночью отворю им ворота. Вот и все. Теперь я не знаю, что делать, что думать. Отпустите меня. Я не сделаю вам зла.

— Брат Памва...

— Не называй меня так, сестра, не напоминай о моем самозванстве.

— Брат Памва, Бог коснулся тебя, совершилось большее чудо, чем исцеление сестры Нонны. Иди с миром, ты найдешь себе дорогу. Слезы твои приведут тебя к источнику всякого утешения. Прости нас, Христа ради.

Настоятельница поклонилась разбойнику, а тот подполз к сестре Нонне и поцеловал ее грязный подол.

— Молись обо мне, блаженная Нонна.

Та звонко рассмеялась, причем огромный живот ее колыхался, как студень.